

Ранним июльским утром, на восходе солнца, у степного полустанка остановился в ожидании встречного эшелон с военнопленными, и одному из них эта остановка спасла жизнь. Он был без сознания и никак не отреагировал на бесцеремонное перемещение из пыльного и душного вагона на свежий воздух. Начальник полустанка пытался возражать, но кто его слушал? Дождавшись встречного, состав отправился дальше, а скрюченное тело осталось на лавке у путейского дома, хозяину которого и без военнопленного хватало забот. Пока он соображал, хмурясь, как поступить, во двор въехала подвода, присланная из райцентра за почтой, и железнодорожник посветлел лицом — хоронить этот мешок с костями ему не придётся. Вместе с почтой на телегу погрузили и нежеланного гостя — пусть там в районной больнице с ним разбираются.

Так он оказался в большом степном селе.

Вышедший во двор врач осмотрел его прямо на телеге, вынул изо рта самокрутку и бесстрастно констатировал: «Дрова». Что означало — не жилец. Пожилая санитарка Полина согласно покивала: «Лицо синюшное, едва дышит». Но даже если дистрофик до ночи не дотянет, заведённого порядка это не отменяло, вновь поступившего следовало обмыть, переодеть, одежду отправить на санобработку. В таких лохмотьях наверняка и блохи и вши, которые запросто могут занести в больницу сыпной тиф.

В холодное время больных мыли в помывочно-прачечной, старом сарае за больницей, летом — на деревянном топчане под навесом в углу двора. В процессе водных процедур больной открыл глаза и застонал. «Живой», — одобрительно кивнула санитарка. «Длинный, а вес бараний», — сказала медсестра Рая, с которой они перетаскивали на простыне пациента в палату. «Были бы кости, а мясо нарастёт, — откликнулась Полина, — главное, чтоб не помер». Она не любила,

когда у них пациенты умирали. Ладно, старые, с этим ещё можно как-то мириться, но когда вот такой молодой, почти подросток... «Тоже ведь человек, пусть и немец», — произнесла уже в палате, одевая больного. «Румын, — поправил доктор, глядя в грязную бумажку, которую Полина нашла в кармане истрёпанных штанов. — Штефан Петреску».

Услышав своё имя, Штефан открыл глаза. Какая-то женщина бесцеремонно натягивала на него что-то похожее на женскую ночную рубашку. За нею, спиной к открытому окну, стоял мужчина в халате и в очках. Свет, лившийся из оконного проёма, ранил глаза, и Штефан снова опустил веки, чтобы отсечь и этот яркий свет, и чужой враждебный мир, вернуться в темноту небытия, где было если не хорошо, то хотя бы спокойно.

В семье его считали непутёвым. У старшего брата семья и хозяйство в деревне, средний в двадцать пять имел двоих детей и магазинчик в городе, младший готовился стать учителем. Только Штефан никак не мог определиться. Всё потому, что нетерпеливый, считал отец, скачет с места на место, нигде не задерживается, кому нужен такой мунчитор, такой ненадёжный работник? А никому. Штефан и вправду брался то за одно, то за другое. Всё искал место, где можно побольше и побыстрее заработать. Цель была — купить землю около Фокшани. Семья была родом из тех мест, старший брат жил там, вот и Штефан хотел туда вернуться, купить или построить дом, выращивать виноград и овощи. После того, как в поисках лучшей жизни вся семья, кроме жившего отдельно старшего брата, переехала в город, он только об этом и мечтал. Ездил в родные края каждое лето.

«Гиньёнист», — говорил отец. Неудачник то есть. «Может и неудачник, — соглашалась мать и добавляла, — в одной семье все не могут быть и красивыми, и умными, и удачливыми... с этим надо мириться». Она всегда была на стороне Штефана и жалела его больше других, возможно именно потому, что ему действительно часто не везло, даже в мелочах. Никто и не удивился, что когда Королевство Румыния присоединилось к Берлинскому пакту и вступило в войну на стороне немцев, его тут же, первого из их семьи, призвали в армию. Одели в форму и отправили в окопы, в то время как старший брат получил отсрочку, а младшего вообще не призвали, у него был больной позвоночник.

В январе сорок второго Штефана ранило. А когда он, отвалевшись в госпитале несколько месяцев, вернулся в часть, воевать уже не пришлось, — попал в окружение и вместе с другими военнопленными был отправлен в Сибирь.

После многодневных скитаний в товарном вагоне они оказались в Новосибирске. Лагерь для себя строили сами и до наступления холодов завершить его не успели. Ударили морозы и люди начали умирать. От простуды, дизентерии. Одному Богу известно, как Штефану удалось пережить страшные холода двух долгих сибирских зим. Возможно, спасло то, что их отделение строило жильё,

работать на стройке было легче, чем на прокладке дорог. И местные жители, случалось, подкармливали пленных. Как-никак те строили им дома. Их почти не ох-раняли — куда сбежишь из Сибири? Даже если бы кто-то и решился на побег, далеко бы он в стране, языка которой не знал, не ушёл.

На третье лето там же, под Новосибирском, Штефана подкосила малярия. Он не сразу понял, что с ним, решил, что простудился после купания в холодном озере и не пошёл в санблок. Ещё и потому не пошёл, что лихорадить его начало как раз накануне переезда, — часть военнопленных перебрасывали куда-то южнее, в степи, где, по слухам, им предстояло строить тракторный завод. Он побоялся, что если пойдёт, его могут оставить в прежнем лагере, причём с немцами, которым он не доверял и которых не любил. Помнил их полувраждебное-полупрезрительное отношение с тех самых пор, как попал в армию. Немцы считали румын солдатами и людьми второго сорта. Оставаться и работать среди них желания не было. Надеяться можно было лишь на своих, на тех, с кем сидел в одном окопе. Такие были — Михай и Димитру. За них и надо было держаться. Михай, увидев как его трясёт, сказал уже на перроне: «Оставайся, Штефан, в таком состоянии можешь и не доехать». Он и сам это знал — в лагере умирали и в условиях получше, чем пыльный вагон, но возвращаться было поздно. Оставалось молиться и надеяться на лучшее. Но лучше не становилось, уже к концу первого дня в пути он понял, что это не простуда. Чем дальше уносил его поезд, тем хуже ему было. Помимо малярии тревожила старая рана на ноге. Михай и Димитру, как могли, помогали, но много ли они могли сделать? Разве что водой напоить и проследить, чтобы никто не позарился на его пайку, пока его тряс очередной приступ. Он то засыпал, то проваливался в какое-то сумеречное состояние, а возвращаясь в реальность, в духоту переполненного вагона, думал о том, что до станции назначения ему, скорее всего, не доехать.

Он и не доехал.

Очнулся в деревенской больничке, не представляя себе, где он и как сюда попал. Да это его в тот момент и не интересовало. Он лежал один в маленьком закутке, отделённом от длинного коридора дощатой перегородкой, смотрел сквозь окно на небо и со страхом и покорностью ожидал нового приступа малярии. Они случались обычно по утрам, — внезапно ему становилось холодно, а потом озноб, сотрясавший тело, сменялся жаром.

2

Врач заходил к нему редко, не баловали вниманием и медсёстры, им хватало забот с другими больными. Еду и лекарство обычно приносила санитарка Полина, она же убирала в крошечной палате и, как ему казалось, была настроена к нему дружелюбнее, чем другие.

Подействовал ли горький полынный отвар, которым его поили, или организм сам справился с болезнью, но к исходу третьей недели пребывания в больни-

це ему полегчало, малярия, казалось, начала отступать. И долго не заживавшая рана на ноге затянулась. Он стал выходить на улицу, сидел на бревне под стеной прачечной, куда впервые привела его Полина, и, греясь на солнце, наблюдал со стороны за больничной жизнью, пытаюсь вникнуть в то, что происходило вокруг. Другие больные, — хотя он и ловил на себе их любопытные взгляды, — к нему не подходили, сидели обычно на скамейках во дворе перед больницей, а те, кто покрепче, гуляли иногда и за воротами.

Его терпели в больничке, но он понимал, что долго так продолжаться не может. Наверняка врач уже сообщил куда надо, что пленный оклемался. Слаб ещё, но жизни уже ничего не угрожает, и держать его в больнице дальше нет причин. Знал, со дня на день за ним придут. Не могут не прийти. Старался не думать о том, что будет дальше.

Но неделя шла за неделей, а он всё ещё оставался в больнице. Словно застрял на перепутье. Может, те, от кого зависела его судьба, не знали, что с ним делать, куда его девать? Отправлять в прежний лагерь далеко, стройка нового завода, куда отбыла партия пленных, к которой он был приписан, тоже отсюда не близко, судя по всему.

А может быть, о нём просто забыли, если к концу месячного пребывания в больнице насчёт него не поступило никаких распоряжений? Или те, кто вёл учёт, посчитали, что его больше нет в живых и вычеркнули из всех списков военнопленных? Тогда получалось, что он как бы уже и не существовал...

Однажды сквозь приоткрытую дверь он услышал голос санитарки, которая что-то говорила врачу. Тот вошёл, окинул Штефана критическим взглядом, поморщил лоб, а потом, помедлив, кивнул: «Ладно». Штефан знал это слово. А что врач сказал потом, уже не разобрал. Но и без объяснений было ясно, что пришла пора покинуть сельскую больницу.

И действительно, на следующее утро Полина принесла ему какую-то одежду и велела переодеться. Когда вышли на улицу, он увидел у крыльца впряжённую в телегу лошадь. Полина махнула рукой в сторону телеги — садись, — взяла в руки вожжи и они тронулись. Она что-то говорила, наверное, объясняла, куда его везёт, но он так и не понял. Впрочем, какая разница? В тюрьму его вряд ли бы везла больничная санитарка. Да и есть ли здесь тюрьма? Он сидел в телеге, рассматривал деревенские дома, людей, идущих по улице, а когда выехали за околицу, неожиданно ощутил что-то вроде радости. Тёплое утреннее солнце, высокое небо, вид просматриваемого до горизонта пространства — всё доставляло удовольствие глазу. Хотелось ехать и ехать...

Но путешествие оказалось недолгим.

Где-то через час они въехали в другое село и остановились около приземистого саманного строения. «Мой дом», — сказала, обернувшись, Полина. Он поразился — пожилая женщина взяла его к себе жить? Как ей разрешили? Он слез



с телеги и огляделся. Посреди двора был колодец-журавль, чуть в отдалении — крытый соломой сарай. К нему и повела его Полина. Внутри помимо загоронок для скотины оказалась ещё комнатка-чулан. Дощатые стены, маленькое грязное оконце. У стены стоял длинный, изъеденный шашелем сундук, покрытый старыми овечьими шкурами, поверх них лежало домотканое рядно. На дощатой стене над сундуком висел старый потрескавшийся клеёнчатый коврик с двумя лебедями, плывущими по неестественно синему озеру. Похоже, его новое жилище. Полина ушла, а он лёг и, едва прикрыл глаза, забылся. Всё-таки он был ещё слаб. Проснулся в сумерках, от того, что кто-то заталкивал ему под голову подушку. Вместе с подушкой Полина принесла ещё одно рядно, которым его и укрыла. Сунула в руки миску с холодной картошкой, поставила на деревянную чурку кружку с водой.

Утром разбудил крик петуха за перегородкой. В ответ завозились, закудахтали куры, захрюкал поросёнок. Было холодно, его опять трясло, и он уже не мог снова заснуть. Лежал, глядя в оконце. Предрассветный сумрак рассеивался, наполняя чулан бледным светом. А когда сквозь щели под низким потолком начали пробиваться солнечные лучи, в которых кружились золотистые пылинки, дверь заскрипела и впустила белобрысую девчонку лет шестнадцати. В руках у неё было блюдо — на этот раз с ещё горячей, слегка парившей в утренней прохладе картошкой в мундирах. Оглянувшись на дверь, она вынула из кармана фартука очищенное варёное яйцо, молча положила его на край миски и исчезла. После еды стало теплее, он снова лёг, укрылся и вскоре уснул. Спать следовало как можно больше. Сон был и лекарством, и спасительным омутом, в котором можно спрятаться от враждебной реальности и тревожных мыслей.

Проснулся от того, что дверь снова скрипела и в щель по очереди стали заглядывать, тихо переговариваясь между собой, дети. Он различил слово «немец». Что значило, враг. Через какое-то время, вспугнутые громким голосом Полины, дети исчезли. В потоке её сердитых слов он различил и знакомое — румын. Полина принесла и разбросала по полу полынь, большой пучок подвязала на верёвке в углу. Оглядевшись, ткнула пальцем в сидевшего на клеёнке комара, перевела палец на полынь и хлопнула в ладоши. Но он и без неё знал, что комары не любят запаха полыни. И малярия её боится. Когда Полина ушла, он заставил себя подняться. Надо было как-то отплатить за кров и еду этой санитарке. Выбравшись из каморки, осмотрел просторный сарай. Видно было, что когда-то в семье была корова, и может быть, даже лошадь, овцы, но сейчас здесь обитали только свиньи и птица. В углу под низким потолком висело на цепи старое жестяное корыто, в котором было устроено гнездо для кур, под ним он нашёл лопату, грабли, вилы и старое ведро. Решил для начала почистить в загородке, где похрюкивая, рылись в соломе два поросёнка. Потом принёс из колодца воды и налил им в деревянную бадью. И, обессиленный этими простыми действиями, снова улёгся на сундук.

Глазели на него и взрослые. Взгляды их трудно было назвать дружелюбными. Впрочем, другого и нельзя было ожидать. Когда чьи-то лица в очередной раз мелькали в проёме полуоткрытой двери или кто-то заглядывал во двор, когда он там находился, это вызывало сильное внутреннее напряжение. Хотя эти края и были далеко от фронта, но и здесь люди терпели лишения, и обозлённые, ограбленные войной, хотели посмотреть на врага, принёсшего на их землю столько страданий. И не объяснить им, что его загнали в окопы, не спрашивая, хочет ли он воевать. Что он был мобилизован и отправлен на фронт против собственной воли. Вот и сюда его против воли привезли.

Впрочем, когда тряс очередной приступ, ему было всё равно, кто на него смотрит и что о нём думает. После приступа оставались лишь слабость и тупое безразличие. Но шли дни, приступы становились всё реже, болезнь отступала. К нему стали возвращаться силы. Всё больше времени он проводил во дворе, чтобы просто побыть на солнце. Он любил солнце. В этих краях оно не было таким щедрым, как у него на родине, но всё-таки грело. А вот ночи становились всё холоднее, чувствовалось уже приближение осени.

Он ещё не мог выполнять тяжёлую работу, но было уже по силам обслуживать небольшое хозяйство Полины. Та часто ночевала в больнице, поскольку не каждый день могла добраться в райцентр на попутной подводе, а идти утром десять километров пешком туда, а потом ночью обратно, мало радости, особенно в непогоду.

На пару с Любкой он убрал картошку в огороде за домом и начал чинить забор. Увидев его за работой, стали подходить деревенские. Он был безотказен. Брался за всё, делал всё, о чём просили. Так и получилось, что весь сентябрь он копал чужие огороды, за что ему то совали кусок хлеба, то наливали миску супа, то кружку молока. И вскоре в деревне к нему если не прониклись дружелюбием, то и волком уже не смотрели. Уже в октябре соседка попросила углубить погреб, боялась, что в морозы помёрзнут её запасы. Когда он закончил, вынесла из дому поношенные кирзовые сапоги — плата за работу. Это было очень кстати перед зимой, его ботинки уже никуда не годились.

Где-то там, далеко на родине ещё было по-летнему жарко, зрел виноград, а здесь неяркое солнце всё чаще закрывали тучи, чуть ли не каждый день шёл дождь. Ночами он сильно мёрз, несмотря на то, что малярия отпустила, да и ночевал он теперь уже не в сарае, а на кухне, на широкой лавке у окна. В непогоду он сидел на этой лавке и смотрел на улицу.

Он уже и позабыл, что жизнь может быть такой спокойной, какой она была здесь, в этом селе в одну длинную и кривую улицу. Здесь было тихо, была еда, простая, та, которую давала земля. У него была крыша над головой. И даже работа была. Денег за неё не платили, но теперь он никогда не ложился спать голод-

ным — уже хорошо. Нет, он, конечно, чувствовал угрозу, которая висела над ним постоянно, словно грозовая туча, она не исчезла, но ведь ко всему привыкаешь. Невозможно всё время жить в страхе. Невозможно испытывать тревогу постоянно, рано или поздно она отпускает душу, точнее, душа больше не отзывается на тяжкие внешние обстоятельства глубокой тревогой, как-то смиряется с тем, что мир вокруг неидеален.

Несколько мужчин, вернувшихся в деревеньку после войны, работали, кто в поле, кто на ферме. Он тоже работал, шёл туда, куда звали. И как-то незаметно в селе к нему привыкли. И он привык к этому селу. Ценил то, что и работу ему давали по силам, и никакой надсмотрщик не стоял за его спиной. Это была уже почти нормальная жизнь. Все её неудобства не шли ни в какое сравнение с лагерным бытом и каждый вечер перед сном он молился о том, чтобы бездушная военная машина как можно дольше не вспоминала о нём.

К весне он уже мог кое-как объясниться и многое понимал. Дочь Полины, Люба учила его языку. Показывала на что-нибудь и называла по-русски. В ответ он рисовал ей мелом на дощатой, потемневшей от непогоды стене дома то виноградную гроздь, то абрикос и произносил их названия на родном языке. Стругури, каиса.

Здесь, в картофельно-овощном краю, не знали фруктов. Здесь людей кормили поле и огород. Фруктовых садов не было. Да и вообще деревьев было мало. Лишь кое-где поднимались в небо тоскливо шумевшие летом листвою тополя и у сельской конторы растопырился ветками большой клён.

Он хотел, но не мог рассказать о себе. Не хватало слов. А Любу можно было и не спрашивать ни о чём, вся её жизнь была как на ладони. Он узнал, что до войны она училась в четвёртом классе, а с началом войны всё её учение закончилось — дети пошли работать. Собирали в поле колоски, ломали молодые ветки в роще, вязали из них веники, которые зимой шли на корм скоту. Потом учёбу возобновили, только она на занятия больше не ходила. В селе была только начальная школа, учиться дальше надо было в райцентре. Далеко. Не набегаешься, если ни обуви, ни зимней одежды, мать целыми днями в больнице, а дома младшие, за ними надо присматривать. Всё это он узнал позже, когда научился немного понимать и говорить по-русски. А тогда, когда она впервые принесла ему тарелку с картошкой и варёное яйцо, он лишь отметил про себя её белобрысую миловидность.

4

Время в деревне течёт незаметно. Через два года он стал почти своим в этой семье. А потом и не «почти». Любкин живот подтвердил самые худшие подозрения Полины. Узнав правду, она стегала дочь хворостиной и на всю деревню кляла и обзывала всеми известными ей нехорошими словами. Хотя поздно уже было

бить и проклинать. «Сама виновата, — безжалостно произнесла медсестра Рая, которой Полина горько жаловалась на свалившееся на её голову горе. — Польстилась на дармовую рабочую силу, вот и расплата. С Любки что взять? Неопытная, неграмотная, нигде не бывала». — «Так ведь в хозяйстве ещё одни руки лишними не бывают, — пыталась оправдаться Полина, — думала, этот румын ненадолго тут задержится, а оно вон как обернулось»...

Но, в конце концов, Полина смирилась, — что ей ещё оставалось? — только жить вместе не захотела. Обидно ей было, да и тесно. Обошла соседей и за сараем общими усилиями поставили глинобитный домик в одну комнату. Сосед сложил печь. А поздней осенью у Любки родилась дочь. «Как назовём?» — спросила она. Штефан хотел в честь матери — Стефанией, но не знал, как отнесутся к этому Любка и Полина. Опасался, непривычным им покажется имя, чужим. Но Любке оно понравилось. И даже Полина признала: «Хорошее имя, по-нашему вроде как Степанида будет, Стеша, значит».

И для Штефана жизнь как-то вдруг, неожиданно-негаданно обрела смысл.

Вспомнили о нём в пятьдесят пятом. Был май и он работал в поле, сажал картошку, когда внезапно прибежала запыхавшаяся Полина и прерывающимся от быстрой ходьбы голосом сказала, что почтальонша принесла повестку, его вызывают в военкомат.

С тяжёлым сердцем он ехал в райцентр. Люба хотела отправиться с ним, но он не согласился. Если его арестуют, то лучше будет, чтобы она этого не видела. Но пожилой однорукий мужик в старой военной форме без долгих предисловий сказал, что никто его в тюрьму сажать не собирается, а наоборот, отпускают. Он может ехать домой за казённый счёт. Репатриация это называется. Он не сразу понял: «Домой?» — «Да, домой, можешь ехать в свою Румынию, — сказал военком. — Рад?» Он был удивлён, ошеломлён. И рад, и не рад. Сбывалось то, о чём он и мечтать себе запрещал. Конечно, он хотел ехать. Но — и не хотел — вот так сразу. Не хотел оставлять Любку с дочерью. «Надо, — сказал военком. — Поступил приказ — военнопленных отправлять домой. Так что собирайся». И выдал сопроводительные бумаги.

На обратном пути Штефан зашёл в райцентре на почту и купил двадцать конвертов, на которых там же на почте, макая железное перо в чернила, тщательно вывел свои румынские адреса. На одних — адрес родителей, на других — старшего брата. Ни своего дома, ни адреса собственного у него не было.

Любка провожала его до станции. Ехали они сначала на бричке, потом болтались в кузове полуторки, и степной ветер сушил её мокрое лицо. Но на станции она немного успокоилась, разозлилась даже и, пробившись вперёд в очереди к маленькому окошечку кассы, чуть ли не первой добыла ему билет до Москвы. Но на платформе из её глаз снова градом покатились слёзы. «Перестань, — хму-

рился он, — я сказал, что вернусь, значит вернусь». В ответ она качала головой, она не верила, она чувствовала, знала, что не вернётся. «Не получится, не получится», — твердила, и это его сердило. С тяжёлым чувством Штефан вошёл в вагон и занял место у окна. А Люба продолжала вытирать концом головного платка глаза, а когда поезд тронулся, долго-долго махала ему рукой.

После нескольких дней болтанки в душных, забытых людьми вагонах, усталый и измученный, он оказался на приграничной станции, за которой по другую сторону границы его ждала встреча с родиной. Он не мог не волноваться — как там сейчас? Живы ли родители, братья, друзья? И меньше всего ожидал, что родная страна встретит его как врага — арестом. Большая часть возвращавшихся из плена солдат прямым ходом отправлялись в Румынии в тюрьмы и лагеря — за то, что воевали на стороне немцев.

Так что ни письма, ни весточки от него Любка так и не получила.

5

И больше его не увидела. Первые годы всё мечтала — тайно, конечно, скажи кому, народ бы высмеял беспощадно, — в Румынию съездить, поискать. Знала, что не бывать этому, — какие путешествия, когда вместо денег трудодни? — а вот мечтала. «Нужна ты ему больно, — ворчала Полина. — Он там уже свою нашёл, а ты тут кукуй, вдова соломенная»...

Жизнь шла, надежда таяла. И через несколько лет Люба вышла замуж за электрика, проводившего в деревне электричество, перебралась из своего саманного домика в райцентр, в дом мужа. Хотя и там, в новом доме своём, вспоминала о Штефане. Жив ли? А если жив, то как живёт там, в своей далёкой стране, купил ли ферму, выращивает ли виноград? Виноград для неё как был, так и остался чем-то сказочным. Ни вкуса винограда она не знала, ни вкуса абрикоса, она даже слив, которые в банках-консервах у них, случалось, продавали, никогда свежими не ела. Только на картинках и видела. Ягоды да яблочки-дички, вот всё, что пробовала из фруктов. Их и посадила в конце огорода, хотя муж и ворчал. Баловство это, зря только воду таскать на малину-смородину эту. Лучше картошки посадить побольше, семья-то растёт.

Семья, и в самом деле, росла, у них родилась дочь, а через год появился сын. И хозяйство разрослось — корова, свиньи, овцы, птица... Целый день как белка в колесе. А когда после того, как отработав в поле, вечером ещё и свою скотину надо обиходить, и за огородом присмотреть, до кровати добираться лишь с одной мыслью — поспать. Не то, чтобы рана совсем затянулась, просто думать ни о чём, кроме хозяйства и детей стало некогда. Да и о ком? Скорее всего, умер Штефан, иначе разве не дал бы каким-то образом знать о себе?

Стеша тем временем закончила учёбу и устроилась неподалёку в плодосовхоз. Хотя Полина хотела, чтобы внучка куда подальше уехала. Туда, где никто не зна-

ет, чья она дочь. Потому что из-за глупости материнской натерпелась девочка в детстве и издевательств и насмешек, даже школу бросить хотела. Отчим не позволил. Сказал, ну, обзывают, а ты не слушай. Мать из-за войны четыре класса закончила, всю жизнь из-за этого на тяжёлой работе, а ты из-за пустяка жизнь себе хочешь сломать. Окончив школу, Стеша поступила в сельхозтехникум и стала агрономом. Потом заочно и сельхозинститут одолела. С её подачи в совхозе стали выращивать и малину, и смородину — доказала директору, что растут они здесь не хуже, чем в средней полосе. А потом съездила на какое-то совещание молодых аграриев, с которого вернулась сама не своя, сказала, будут и у нас свои яблоки, сливы и груши. Есть уже на опытных станциях специально выведенные для наших краёв сорта. А там, глядишь, и виноград будем выращивать... Виноград — в Сибири? Где зимой морозы за тридцать обычное дело? Над ней все кому не лень, смеялись. Виноград! В те годы это было из области неосуществимых фантазий.

Как гром среди ясного неба был для Любки звонок от дочери, — едет она по турпутёвке в Румынию. Директор совхоза, когда был в командировке в областном центре, специально для Стешы её раздобыл, как передовику производства. И при мысли о том, что дочери удастся сделать то, на что у неё ни сил, ни здоровья уже не было, заволновалась Любка. Достала конверты с адресами. Напекла пирогов на дорогу, зажарила курицу. Сказала, провожая: «Отца твоего, скорее всего, нет в живых, но может быть родственники найдутся, а не найдутся, так хоть страну, откуда он родом, посмотришь».

Так с конвертами, собственноручно подписанными отцом, Стеша и отправилась в своё первое заграничное путешествие. С той самой станции, на которой когда-то вынесли из товарного вагона полумёртвого Штефана Петреску.

Четверо суток на поезде были ей развлечением. Сколько народу поменялось в купе плацкартного вагона за дорогу, сколько всего за окном она увидела! Та первая поездка запомнилась ей больше всего.

Потом их много было — поездок в Румынию. И она всегда ездила поездом. Даже когда стала достаточно зарабатывать, чтобы позволить себе самолёт. На вопрос — почему не летает, ведь ехать в Румынию из Сибири далеко, — отвечала, мол, поездом интереснее. Мне она то же самое сказала, когда по дороге мы случайно оказались вдвоём в одном купе. Дорога была длинная, и мы развлекали друг друга разговорами.

И где-то на середине пути я и узнала эту историю.

— Сама бы я его, конечно, там ни за что не нашла, — сидя черноглазая женщина порылась в сумке и вытащила пакет. — Что найдёшь, когда ты там в первый раз, языка не знаешь и спросить не можешь? Да и времени свободного нет, культурная программа по часам расписана. Но попалась хорошая переводчица, добрая, отзывчивая девушка. Всё, что можно, разузнала и даже упростила знакомого

отвезти нас на машине по адресу, который на конверте был написан, в ту самую деревню около Фокшани. Правда, всю дорогу твердила, чтоб я на встречу сильно не надеялась, в стране после войны столько произошло изменений... Да я и сама понимала, что мало надежды его увидеть. Но хоть тот край, думала, посмотрю, где он так жить хотел.

— Значит, он жив оказался? Нашли его?

Женщина ответила не сразу. Вытащила из пакета фотографии, перебирала их и, казалось, задумалась на мгновение, не расслышала вопросов. Но она слышала.

— Нашла, — произнесла, наконец. — Мечта его сбылась, жил в том самом месте, где всегда хотел жить. Вот в этом доме, — протянула мне одну из фотографий. — В доме брата.

— Здорово, — сказала я, беря в руки снимок с симпатичным коттеджем. — Здорово, что вы смогли его отыскать.

— Да нет... — произнесла она снова не сразу, а с некоторой задержкой, рассматривая другую фотографию. — Совсем даже не здорово.

— Почему? — удивилась я. — Он женился? Другая семья?

— Он меня не узнал.

— Ну, это и неудивительно. Он ведь вас взрослой не видел, — попыталась я утешить свою попутчицу.

— Да не поэтому. Просто у него болезнь такая... Альцгеймера.

Она протянула фотографию, которую держала в руках.

На фоне белой стены на деревянной скамейке рядом с молодой и красивой девушкой с чёрными локонами, в которой просматривались черты моей попутчицы, сидел, сторбившись, худой пожилой мужчина, который ничего не помнил. Ни войны, лишившей его юности, ни Сталинграда, ни плена, ни далёкой сибирской деревушки, где жила Любаша с его дочерью, ни страшных лет, проведённых в Сигетской тюрьме. Стеша смотрела в объектив, он — куда-то вверх. Над их головами висели крупные гроздья винограда.

— Мы теперь его и у нас, в Сибири, тоже выращиваем, — сказала женщина. — Вот бы он удивился, если бы увидел...